

Эдуард Трескин

Амариллис

рассказ

147

На последнем концерте Маэстро было много цветов.

Была ранняя весна, и на чёрном рояле они лежали сырым сияющим ворохом – всё больше красные розы, гвоздики, пёстрые тюльпаны, бледные каллы – громоздкие и геометрически изысканные, словно выращенные в недрах ЭВМ.

Возможно, там были ещё какие-то цветы, но они потонули в бело-красном сугробе на чёрном льду рояля.

Теперь я уже почти забыл, о чём мы говорили после концерта, когда шли, скользя и держась друг за друга, по призрачным мартовским улицам, когда сидели у Маэстро дома и он угощал нас чаем с засахаренной калиной.

О музыке, о Чайковском, о театре и стихах? Да когда же мы об этом не говорили?

Вместо Чайковского мог быть Верди или Мусоргский, вместо театра – кино, вместо стихов – проза, но даже за разговором о том, как готовить плов, мне чудились не столько секреты кулинарии и золотой рисовый холм на фарфоровом блюде, сколько минареты Золотой Бухары и тайны Востока.

Я вовсе не утверждаю, что Маэстро чурался всего земного, нет, нет! Просто он умел наполнять поэзией всё, с чем соприкасался.

Собственно, никакого умения тут не было, ибо умение предполагает намерение. У него же это выходило естественно, само собой. Иначе и быть не могло, потому что в нём никогда – ни в дни страданий и бедствий, ни в часы

успеха или минуты отчаяния – не угасала юная, очарованная красотой душа.

Но о чём всё же шёл у нас разговор в тот вечер?

Может быть, Маэстро что-то вспоминал... Может быть, свою молодость? Наверняка, вспоминал! Как обойтись без воспоминаний тому, кого жизнь сводила с самыми разными и удивительными людьми – с писателями, музыкантами, маршалами, артистами, художниками?

И все эти – известные, выдающиеся, великие, о которых написаны книги, сняты кинофильмы, – в памяти Маэстро жили своей жизнью, порою вовсе отличной от сложившихся мифов. Во всяком случае, Маэстро умел замечать за людьми такие свойства, которые открывались далеко не каждому.

Не это ли мы услышали от него в марте?

«Все знают, что Джалиль – герой, человек мужественный, несгибаемый борец и так далее. А я почему-то, думая о нём, вспоминаю совсем не героические вещи, связанные с нашей доверенной юностью, когда мы жили в Москве: он – мало кому известный поэт, а я – студент консерватории.

Джалиль тогда занимал комнату в Столешниковом переулке, кстати, в одном доме с былинным бытописателем Москвы Гиляровским. Жил бедно, как и я, хотя слово «бедно» в те дни звучало почти что гордо, потому что у нас было одно неоспоримое богатство – молодость.



Нияз Даутов в роли Германа
(«Пиковая дама»)

Прекрасно сказано: «Ах, молодость, лети, хрусти по льдинкам!..» И мы летели вперёд, хрустели по льду рваными башмаками, нас продувало ветром, а если мы и были жадными – так до стихов, спектаклей, концертов, новых встреч и впечатлений.

Вообще, мне кажется, что у моего поколения был особый азарт жить, особая жажда что-то сделать, чего-то добиться, успеть. Возможно, это было предчувствие недожитого времени, которое оборвётся войной.

Помню, молодой Фарид Яруллин, автор гениального балета «Шурале», сидя за роялем, искал и искал новые сочетания звуков, импровизировал в импрессионистском духе, мучился от невыразимости того, что ему хотелось сказать... Словно боясь не успеть, словно зная, что не суждено ему увидеть своё – теперь уже всемирное – дитя.

...Была ненастная осень, весь день лил дождь, беспросветно ровный, временами ветер надувал дождь, как па-

рус, и тогда водяная метель мела по железным крышам, хлестала в окна, ворчали водостоки. К вечеру прояснилось, я подошёл к окну – в прогалине рваных облаков светлой точкой стояла звезда.

Я вышел на улицу. Было холодно, но ветер улёгся. Хотелось побродить по городу, подышать прощальной теплотой опавшей листвы в сквере. Пройдя бесцельно полквартила, решил сходить в Столешников – к Мусе. Для этого прежде нужно было вернуться домой.

Сегодня он был на моём экзамене в консерватории – я пел Глинку, Даргомыжского и старинную арию Каччини. Пел удачно, меня поздравляли сокурсники. На лестнице встретил необычно взволнованного Мусу:

– Как ты пел сегодня! И какая чудесная итальянская вещь, какая нежность в словах! Пожалуйста, повтори мне хотя бы начало!

Я потихоньку стал напевать:

*Amarilli, mia bella,
non credi, o del mio cor...*

Муса слушал, потом сказал:

– Прошу тебя, дай мне эти слова и подстрочный перевод! Может быть, сумею перевести их на наш язык. Если бы удалось сделать так же музыкально!

Я пообещал написать.

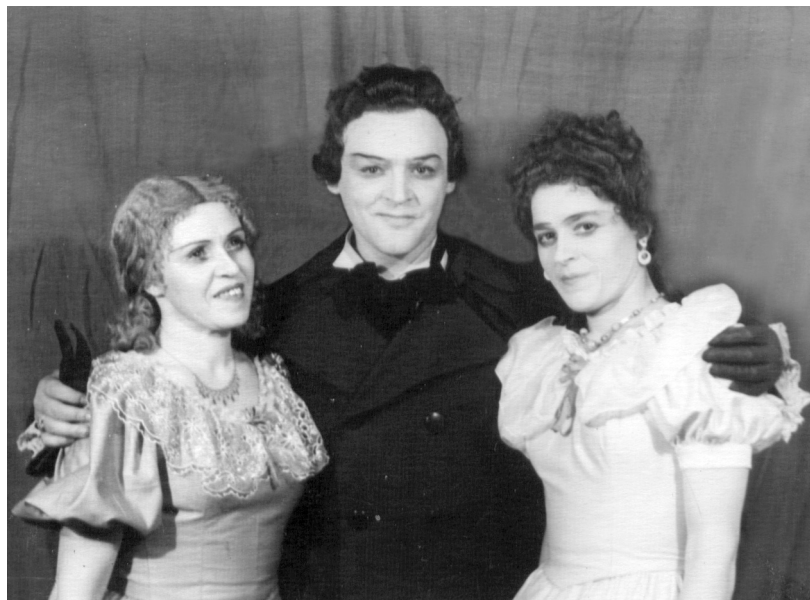
Час просидел над текстом со словарём, стараясь передать точный смысл стихов. Вышло довольно неуклюже и наивно.

Вернулся домой, сунул листок с переводом в карман и пошёл к Мусе.

На Петровке было многолюдно, куда-то проносились горбатые лакированные эмки, тарыхтела полуторка, неспешно, как бы навсегда отстав от жизни, тащилась телега с ящиками, запряженная битюгом. Возчик в военного покроя плаще – наверное, подарок демобилизованного сына – сидел, свесив ноги, курил и с величавым презрением поглядывал на всю эту го-

Нияз Даутов с актрисами Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля – Рабигой Мушинской – слева. Справа – имя пока не установлено. После спектакля «Евгений Онегин», где Даутов исполнял партию Ленского. 1955.

Из частного архива



149

родскую суету, на разноцветные окна домов, на проплывавшие мимо вывески магазинов. Похоже, у него не было никакого азарта, потому что он прожил жизнь и знает ей цену.

Вот и переулочек. Муса дома. Войдя к нему, я не узнал комнаты. Три стены её от пола до потолка были увешаны картинами: тут были натюрморты с южными фруктами и цветами, пейзажи, акварель соперничала с маслом, текли реки в ромашковых лугах, шумели сосны и берёзы, и ветхий мостик над сельским прудом заманивал попробовать его на прочность.

Муса стоял посреди этой неожиданной роскоши и был очень доволен моим удивлением.

– Боже мой, откуда это всё, Муса?! Неужто тебя напечатали все издательства и ты разбогател? Или нашёл клад?

– Никакого клада я не находил, – улыбнулся Муса. – Да и печатают меня не так чтобы очень. Просто сосед – художник. Его тоже пока не выставляют ни в Лувре, ни в Третьяковской галерее. Картины он хранит в чулане, и его жена каждое воскресенье носит на базар одну, чтоб было на что жить.

А поскольку он пишет всё же быстрее, чем она продаёт, возникло некоторое перепроизводство ценностей. Гора картин выросла под потолок, а он всё пишет. И я, представь себе, предложил ему разместить картины у меня в комнате. Пусть висят – мебели здесь мало, место есть. Так что временно я обладатель самой большой частной коллекции живописи среди всех поэтов мира. Каково?

И Муса рассмеялся.

Я тоже пошутил, что, мол, если творческий жар соседа-художника не иссякнет ещё с полгода, то придётся организовать передвижную выставку.

Но внутренне я был взволнован, наверное, не меньше, чем Муса сегодня днём.

Его страстная тяга к красоте – в звуке или в цвете и форме – пронзила ознобом: да это настоящий художник, и как по-детски безыскусна и чиста такая страсть! Кто знает, может быть, потом в Моабите бессонными ночами виделась Джалилю далёкие ромашковые луга родины, а воспоминания о красоте, наглухо закрытой бетонной толщей, заставляли крепче сжимать в пальцах почти безнадеж-

ный – бесценный – огрызок карандаша...

Пробыл я тогда у Мусы недолго, оставил подстрочник и ушёл.

Дома стоял у окна и смотрел на ту же звезду в чернильной бездне. И снова смутно тревожила и сладко ранила сердце эта одинокая мерцающая точка – прокол из нашего тёмного мира в неведомый океан света.

Недели через две, встретившись с Мусой, я спросил, как обстоят дела с переводом.

Тот нахмурился:

– Что-то не выходит, вернее, не сходится. Не могу пока передать звучание. Вот-вот, кажется, поймаю... Глядь, а вместо золотой рыбки в руках – обыкновенный карась!

– Может, ещё получится! – выразил я надежду.

– Не знаю, – сказал Муса. – Буду пробовать.

Перевёл он стихи, нет ли – остаётся гадать. Больше мы об этом почему-то не говорили.

Только я думаю: а нужно ли подчас переводить? Приобретая смысл – теряем загадку. Помните, у Шелли: «Ты прекрасна, как романс на чужом языке...» Замечательно, правда?!»

Вполне вероятно, что в тот мартовский вечер в доме Маэстро разговор шёл о другом.

...И всё-таки о Чайковском, о поразительной внутренней связи его романсов и опер, о том, что невозможно постичь сокровенный смысл их без попытки прикоснуться к трагической личности счастливого автора, у которого шедевры признавались за шедевры ещё при жизни.

Сегодня на концерте я пел, а Маэстро выступал в роли ведущего. И роль эта – конечно же! – была ведущей.

У меня, по правде говоря, было состояние школьника, который выучил на одну главу больше заданного и этак запросто – на равных – спорит с учителем.

И сейчас, когда концертная лихорад-

ка постепенно сменялась ощущением благополучно перепрыгнутой пропасти, всё, что говорил Маэстро о моём нынешнем пении, касалось как будто кого-то другого, постороннего. Что было, то прошло. Звук улетел, растворился в пространстве – и бог с ним.

Дело сделано. Можно самому немного раствориться в этой на редкость уютной квартире, где всё исполнено изящества и простоты, где в коридоре и комнатах архипелаг картин манит ступить на неведомый берег, где тяжёлый «Ундервуд» – словно рояль пианиста – ждёт пальцев хозяина, где в серванте звенит массивный капральский бокал, принадлежавший императору Павлу, где грудой навалены на письменном столе и в углах кабинета эскизы декораций, костюмов, мебели, страстей, надежд, злодейств и крушений, где стоят бюсты Данте и Чайковского, а в своем укрытии за стеклянной дверцей низкого шкафа видит тягучие бронзовые сны верблюдов, отлитый за два столетия до рождения певца Беатриче. А в двадцатом веке этим верблюдом владел сам Хлебников – как и всем миром, впрочем!

– Вам обязательно нужно спеть вот это, – вывело меня из грёз обращение Маэстро ко мне. – Вы, конечно, знаете.

И он стал тихо напевать:

– «Снова, как прежде, один...»

Самым удивительным в этом пении – собственно, и не пении, а, скорее, отражении его в далёком туманном зеркале – было ощущение первозданности музыки и слов. Конечно, я помнил этот романс, слушал в разных – и знаменитых – записях. Но Маэстро, видимо, владел тайной.

Мало того, что, слушая его, нельзя было и думать об ином истолковании – казалось, на твоих глазах рождается неповторимый мир, и ты на головокружительно высоком мосту стоишь над тёмной водой, а ещё выше всё так же «горят небеса».

Когда я слушал Маэстро, возникало ощущение мучительного счастья оттого, что ТАК мне никогда не спеть!

Наш концерт шёл при свечах. Это была идея Маэстро, но осуществить её оказалось не просто – в магазинах предлагали одни электролампы.

За день до выступления мой друг, используя все свои партийно-хозяйственные связи, достал десять свечей. Они были фигурные, из цветного стеарина, за время концерта сгорели не полностью и сейчас стояли в двух индийских канделябрах красными сталагмитами.

Квартира была полна сегодняшними цветами. Когда их разбирали, морозно хрустел целлофан, бутоны роняли на пол, ахали, поднимали, лилась в ванной вода, хозяин гадал, в какую вазу что поставить, и всё удивлялся, отчего он не помнит названия этих – таких знакомых и даже любимых им когда-то – цветов.

Телесно-розовые, припорошенные сиреневой золой, они источали еле уловимый запах мёда и слабо никли на крепком зелёном стебле, не в силах стряхнуть тропическую дремоту душиной оранжереи.

– Пожалуй, отнесу в спальню, – сказал Маэстро. – Как они называются – ума не приложу! И кто их подарил – не заметил. Надо непременно вспомнить.

Возвращались домой за полночь. Перед уходом Маэстро пожелал мне спеть когда-нибудь все романсы Чайковского за пять или шесть вечеров.

Качнулся в двери брелок ключа: маленький лукавый ажан рядом с Эйфелевой башней – подарок Святослава Рихтера, старого друга Маэстро... и мы вышли в гулкую пустоту лестничной клетки.

На улице было холодно. Тихо жужжали и лилово тлели люминесцентные фонари, блестел скользкий асфальт, из глубины перепутанного голыми ветвями сада горько и обещающе пахло ивовой корой.

Мы шли домой, полные счастливых предчувствий, и с наслаждением слушали эхо своих шагов...

Маэстро умер в разгар весны – в самой её сердцевине, посреди птичьей неразберихи, дорожной черноты и влажной синевы апреля.

Вслед за пришедшим теплом в руках у прохожих изредка стали попадаться освобождённые из парникового пленки амариллисы, жадно открывавшие алость звёздчатых рупоров навстречу солнцу, радостной весенней сутолоке.

Те самые амариллисы, что были подарены Маэстро на последнем концерте, те, о которых он пел когда-то в юности.

Вспомнил ли он их название?..

Amarilli, mia bella,
non credi, o del mio cor...

